

24.1.96.

Есенин Сергей

лит. газ. - 1996. - 24 сент. - с. 6.

Есенина она любила. Но меня любила — больше

А.С. ЕСЕНИН-ВОЛЬПИН в беседе с корреспондентом "ЛГ" Ириной ТОСУНЯН

Роман Сергея Есенина и молодой поэтессы-имажинистки Надежды Вольпин, как и многие есенинские романы, поначалу был одухотворенно-сложным, под конец — мучительным. Начался он еще до знакомства и женитьбы Есенина на Айседоре Дункан, возобновился после разрыва со знаменитой танцовщицей и возвращения поэта в августе 1923 года в Москву. Точку поставили в начале 1924 года. По инициативе Вольпин, которая в то время уже твердо была "намерена одарить его ребенком". Нежеланным для него, Есенина, ребенком. "Зря вы все-таки это затеяли, — говорил он перед отъездом Вольпин в Петербург. — Понимаете, у меня трое детей. Трое!" "Так и останется: трое, — ответила она. — Четвертый будет мой, а не ваш. Для того и уезжаю".

Летом 1925 года друг Есенина Александр Михайлович Сахаров, глядя на годовалого Александра Сергеевича, говорил молодой маме:

— Сергей все спрашивает, каков он, черный или беленький: А я ему: не только беленький, а просто вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно.

— А что Сергей на это?

— Сергей сказал: "Так и должно быть — эта женщина очень меня любила".

...Из четырех детей Есенина сегодня жив только самый младший — Александр Сергеевич Есенин-Вольпин: поэт, философ, математик, диссидент. Живет в США, в Бостоне. Начиная с 1989 года, когда ему впервые удалось получить въездную визу в СССР, по несколько раз в год приезжает навещать маму — Надежду Давыдовну Вольпин. Но последний его приезд был ради отца — в канун 100-летнего юбилея Сергея Александровича Есенина.

— На самом деле до тех пор, пока я не покинул в 1972 году страну, фамилия моя была Вольпин, я никогда от нее не отказывался. А Есенин-Вольпин — научный псевдоним. И мне всегда бывало неловко, если меня называли просто Есенин. В метрике записано: отец — Есенин, мать — Вольпин, но, когда я хотел узаконить двойную фамилию, мне сказали, что это можно сделать, только обратившись в высокие сферы МВД. Как вы понимаете, с этими людьми я не хотел связываться. И документы на выезд оформлял как Вольпин, и в Европе так несколько месяцев жил. Но когда в Париже получил эмиграционную карту в США, там уже значилась двойная фамилия. Кто постарался, я так и не узнал. Но никогда не буду сам себя именовать Есениным. Это совершенно другие ассоциации.

— Имеется в виду то, как относился Есенин к факту вашего рождения, а затем и к вам самому?

— Мой отец умер 70 лет назад, мне было тогда полтора года. О чем тут говорить!

— О стихах. Ваших стихах, в которых — тоже поэт и тоже диссидент — Юрий Айхенвальд услышал "ноты пронзительной искренности", роднившие, как он считал, вас с вашим отцом, "ноты болезненного надрыва, утверждающего себя как совершенно естественное мироощущение в обществе доведенных до скотского состояния людей". Именно за стихи вас, кажется, и арестовали в первый раз?

— Да, в первый раз меня посадили именно за поэзию. Хотя обвинение звучало так: "за антисоветскую агитацию и пропаганду". Это было в 1949 году, вскоре после окончания аспирантуры. В июне я защитил кандидатскую диссертацию по математике, в июле — за стихи — уже сидел на Лубянке.

— А что это были за стихи?

— Те самые, которых власти заслуживали.

*Никогда я не брал сохи,
Не касался труда ручного.
Я читаю одни стихи,
Только их — ничего другого...
Но поскольку вожди хотят,
Чтоб слова их всегда звучали,
Каждый слесарь, каждый солдат
Обучает меня морали:
"В нашем обществе все равны
И свободны — так учит Сталин.
В нашем обществе все верны
Коммунизму — так учит Сталин".
...И когда "мечту всех времен",
Не нуждающуюся в защите,
Мне суют как святой закон,
Да еще говорят: любите, —
То, хотя для меня тюрьма —
Это гибель, не просто кара,
Я кричу: "Не хочу дерьма!"
...Словно я не боюсь удара.
Словно право дразнить людей
Для меня как искусство свято,
Словно ругань моя умней
Простоватых речей солдата...
...Что ж поделаешь, раз весна —
Неизбежное время года,
И одна только цель ясна,
Неразумная цель: свобода.*

После ареста я написал еще около тридцати стихотворений, за каждое из которых меня еще минимум тридцать раз можно было посадить за решетку.

Надеюсь, скоро сборник моих стихов будет напечатан в России. Но давайте сразу все расставим по местам. Сейчас я могу сказать: кое-что в поэзии я сделал. Кое-что. Но это было давно. Стихов я не пишу уже лет двадцать и от литературы отошел довольно далеко. Занимаюсь математикой и философией. Причем философом ощущаю себя все-таки больше, чем поэтом, и даже больше, чем математиком.

— Ну, а сыном поэта — на разных этапах вашей жизни — вы себя ощущали?

— Конечно, ощущал, но старался как можно меньше об этом думать. Совершенно очевидно, что отец — это одно, сын — другое. И коль скоро я мнил себя человеком творческим, то должен был идти своей собственной дорогой. И это замечательно, что мама не дала мне в детстве фамилию отца. Всякий бы меня тогда сравнивал с моим знаменитым отцом, а при чем здесь это сравнение?

— А сами вы когда узнали, кто ваш отец?

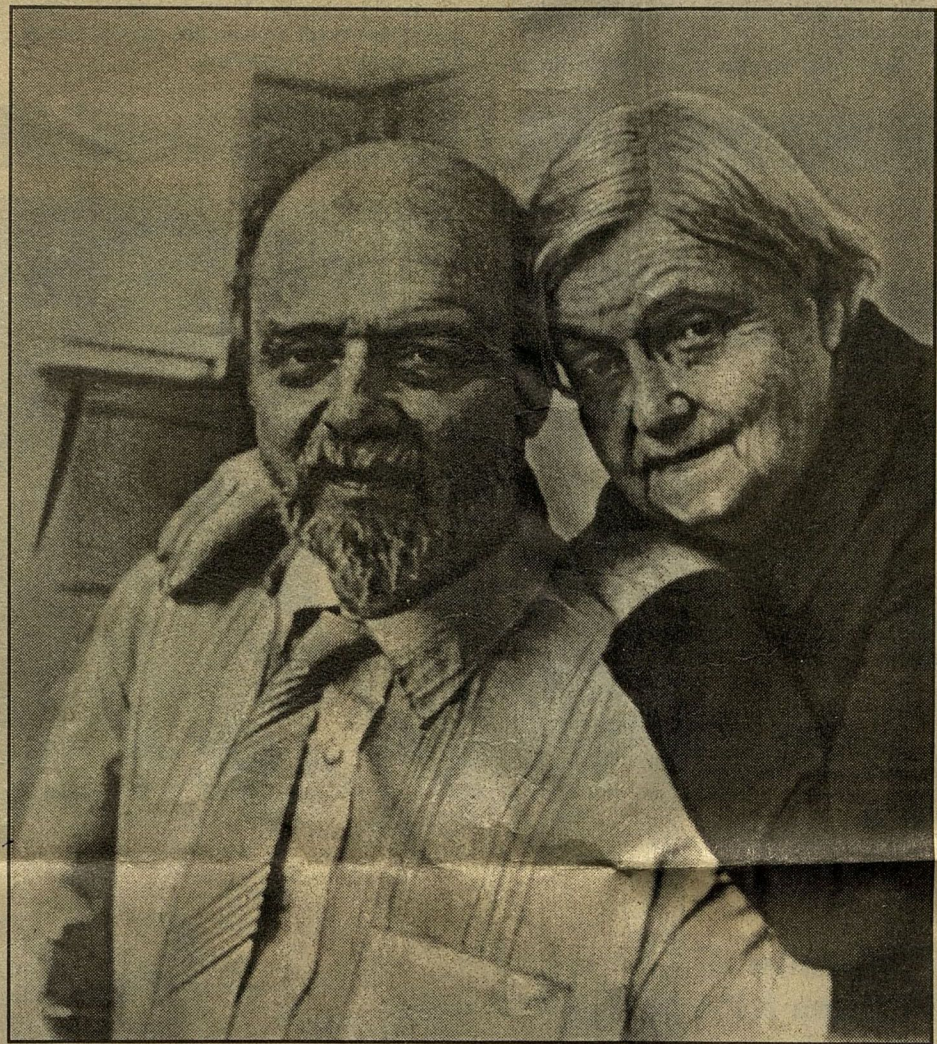
— Еще в дошкольном возрасте. Видел на столе у мамы его книги.

— И когда вы его почувствовали как поэта?

— Когда прочитал поэму "Черный человек". Дальнейшие объяснения мне были не нужны. До этого слышал, конечно, разнородные вещи, и это не было для меня чем-то важным. Дома меня направляли по пути астрономии и других естественных наук. Поэзия к этому имела мало отношения. Потом, лет в шестнадцать, сам стал писать стихи, но никогда не считал их своим основным делом.

— Поэт Сергей Есенин вам близок?

— Частично. Он действительно один из крупнейших поэтов XX века в России. Но,



А.С. Есенин-Вольпин с матерью

скажем, Блок или Гумилев имели для меня еще большее значение.

— А факты из биографии отца вас не занимали? Литературоведческая стезя не интересовала?

— Никогда. Пусть этим занимаются другие. Мне, конечно, были интересны эпизоды его столкновений с властями, загадочный вопрос его конца: было это самоубийство, убийство?..

— Вы верите в версию убийства?

— Я был удивлен, когда услышал об этом в первый раз. Но поскольку эта версия неоднократно муссировалась в печати и даже подкреплялась правдоподобными фактами, совсем игнорировать ее нельзя. Я думаю, имело место несколько завуалированное доведение до самоубийства. Помните сцену самоубийства Алексея Кириллова в "Бесах"? Когда Петр Степанович стоял в соседней комнате и ждал: застрелится — не застрелится? И готов был ворваться и помочь. С Есениным могло произойти нечто подобное. Скажем, при жизни своей он так и не дождался собрания сочинений. Но ему могли объяснить, что если сейчас, в блеске славы, он уйдет, то все, им написанное, будет непременно опубликовано и непременно в собрании сочинений. Если же откажется, да к тому

же повторит два-три дебоша, таких же, как по пути с Кавказа в Москву, жизнь его в поэзии будет закончена, а сама память о нем стерта. Могли так оказать на него давление, могли — иначе. Уж что-то, а конфеты они заворачивать умели.

Но вешался он все-таки сам. И уж совершенно не могу принять утверждение, что ему была нанесена черепная травма, что был изувечен лоб. Все это нелепость. Другое дело, кому эта нелепость понадобилась.

— А что говорила вам мама о смерти Есенина?

— Она всегда считала, что он покончил с собой при помощи веревки, но уточняла при этом, что из веревки той не была сделана петля, она была просто обмотана вокруг шеи так, что могла и размотаться. Ничего больше мама не знала.

Мы с моим старшим, уже умершим братом Костей беседовали на эту тему, и Костя, лучше знавший Есенина, считал, что он все равно бы погиб, в любом случае не дожил бы до 37-го года, не перенес бы коллективизации деревни. Видя, куда движется страна, он мог предпочесть быстрый конец.

Конечно, мог и эмигрировать. Но он не я, это я мог, на манер Остапа Бендера,

воскликнуть: "Ну что ж, адье, великая страна. Я не люблю быть первым учеником и получать отметки за внимание, прилежание и поведение". Продолжайся в России догорбачевский период, меня бы сюда и калачом не заманили. А Есенин — хоть и бунтарь, хоть и дебошир — эмигрантом никогда бы не стал. Умер бы, но не стал.

— А от бурного характера Есенина переладилось что-то его детям?

— Во мне, как и в нем, всегда жил дух протеста. Просто у меня это выразилось в другой форме.

— Вы говорите о вашей диссидентской деятельности? Кстати, можете ли вы сами себя назвать истинным диссидентом?

— Исходя из определения диссидента как человека, сидящего с краю от остальных, конечно, я был диссидентом. Я просто никем другим никогда не был. Но в те времена мы себя называли "инакомыслящими". А когда наши доблестные органы стали гоняться за диссидентами, я уже успел перебивать и на Лубянке, и в психушке у Сербского, и в питерской тюремной психиатрической больнице, и в ссылке в Карагандинской области. Имел и опыт, и необходимые юридические познания, чтобы помогать другим правозащитникам.

— У вас был какой-то официальный статус в правозащитном движении?

— У меня просто была моя личная тема: соблюдение процессуальных правил в судопроизводстве. И, может быть, лучшее из всего, что я написал, это юридическая памятка для тех, кому предстояли допросы. Она была напечатана на машинке, и копии довольно широко распространялись. Мне рассказывали, как бесило следователей, когда подследственные грамотно сопротивлялись. "Вольпина начитались, — кривились они. — Ну, тогда с вами бесполезно разговаривать!"

— Я знаю, что бесили вы не только следователей. Начальник Агитпропа ЦК Ильичев в каком-то из своих выступлений по поводу антисоветчины и модернизма в искусстве, говоря о ваших стихах, назвал вас "ядовитым грибом". Что же касается официального статуса, от которого вы открещиваетесь, то ведь именно вы вместе с В.Н.Чалидзе и А.Д.Сахаровым создали Комитет прав человека. И сами стали экспертом этого комитета.

— Правильнее сказать так: Чалидзе создал комитет, Сахаров принял в нем участие. Я много с ними беседовал. Вот что организовал лично я, так это митинг на Пушкинской площади с требованием гласного суда над Синявским и Даниэлем.

Вместе с физиком, ныне покойным Валерием Никольским, мы назначили демонстрацию на 5 декабря — День конституции. Ведь должна конституция соблюдаться хотя бы в свой собственный день. Долго там простоять нам, конечно, не дали, но гласность суда, неудовлетворительная, но хоть какая-то, имела место. По крайней мере, суд не считался закрытым и кое-кто все-таки попал в зал суда.

— Вы тоже были на суде?

— Нет, я заболел, и, думаю, не без помощи "врачей" получил ожоги. Диагноз, правда, поставили: аллергия. Но бывалые люди объяснили, как вызывалась такая "аллергия". Так или иначе, но пару меся-

цев я хворал, а когда выпустили из больницы, суд уже закончился. Меня вообще очень полюбили "лечить" — и при Сталине, и при Хрущеве.

— А при Хрущеве за что?

— За то, что позволял себе контакты с заграницей сверх тех узких рамок, которые тогда допускались. А проще — нелегально пересылал разные рукописи.

— 31 мая 1972 года вы уехали из СССР. За границей вы продолжили правозащитную деятельность?

— Наверное, можно было бы и активнее это делать. Но очень много занимался математикой и философией. Сейчас, когда приезжаю в Россию, у меня охотно берут интервью: о правозащитном движении, о Есенине. Но никого я не интересую в качестве автора работ по основам математики. Да и слава Богу: могли все перевернуть! Но я уверен: мои труды именно в этой области сыграют немаловажную роль в науке XXI века. И это обстоятельство для меня важнее того, кем были мои папа и мама. Есенин остался бы Есениным и без моих научных работ.

— Александр Сергеевич, а стихи, посвященные отцу или, скажем, навеянные его творчеством, вы когда-нибудь писали?

— Нет, нет. Я жил в другое время, увлекался символизмом, французскими поэтами. Имажинистская лирика ничего общего с этим не имела. А темы жизни и смерти, которые есть и у Есенина, и у меня, — так они есть у всех поэтов.

— В разговорах с вашим братом Костей, с мамой вы тоже говорили об отце "Есенин"?

— Нет, конечно, — отец. Не было необходимости называть его по фамилии. Он все-таки был свой. С Костей отец у нас общий, все остальное — более-менее врозь. Костя, не забудьте, был настоящим членом КПСС. Однажды он меня упрекнул, мол, из-за тебя в Париж не пустили. А я в ответ: "Подумаешь, меня из-за таких, как ты, вообще никаку не пускают". Кстати, в Париж он съездил.

— А вы действительно были похожи на Сергея Есенина?

— Я был несколько темнее. Но помню одну свою фотографию, когда мне было девятнадцать. Голова слегка повернута и склонена к плечу. Когда увидел у Кости фотографию отца в том же возрасте в той же позе, в первую минуту решил, что это та самая моя фотография.

— Вы с мамой часто разговаривали об отце?

— Да, но она не любит острых тем в этом вопросе, часто не знает, что ответить. И мне трудно судить: не расстанься они с Есениным, была бы она ему хорошей подругой или нет? Она ведь, прямо скажем, никогда бунтаркой не была.

— Но ведь очень его любила?

— Конечно, любила. Но меня любила — больше.

— И стихи?

— Как поэта она меня всерьез не принимала. Моя мама вообще никогда не могла понять, чем я занимаюсь. Диссидентки из нее не получились бы, это точно. Но Есенина она считала и считает самым крупным явлением своей жизни.

— Но ведь и на вашу жизнь он оказал влияние...

— Влияние скорее оказало сознание того, что раз моего отца так высоко ценят и так свято помнят, то плох я буду, если тоже не достигну чего-то в жизни. В поэзии можно быть кем угодно, только не эпигоном. А если бы я пошел по его пути, то именно эпигоном и стал бы. Превзойти его я не мог и всегда понимал это.